



Предисловие к английскому переводу романа «Король, дама, валет» («King, Queen, Knave»)

Из всех моих романов этот лихой скакун — самый веселый. Эмиграция, нищета, тоска по родине никак не сказались на его увлекательном и кропотливом созидании. Зачатый на приморском песке Померании летом 1927 года, сочинявшийся в продолжение зимы следующего года в Берлине и законченный летом 1928 года, он был опубликован там в начале октября русским зарубежным издательством «Слово». Это был мой второй русский роман. Мне было двадцать восемь лет. К тому времени я прожил в Берлине, с перерывами, лет шесть. В числе многих других интеллигентных людей я был совершенно уверен, что не пройдет и десяти лет, как все мы вернемся в гостеприимную, раскаявшуюся, тонущую в черемухе Россию.

Осенью того же года Улыптейн купил права на немецкое издание. Книга была переведена (как меня уверяли, вполне удовлетворительно) Зигфридом фон Фегезаком, с которым я, помнится, познакомился в начале 1929 года, второпях проезжая с женой через Париж, чтобы истратить щедрый улыштей-новский аванс на собирание бабочек в восточных Пиренеях. Мы познакомились в его гостинице, где он лежал в постели с сильным гриппом, совершенно разбитый, но при монокле, а знаменитые американские писатели меж тем кутили в барах и подобных заведениях, как это у них, говорят, полагалось¹.

Нетрудно заключить что русский писатель, выбирая исключительно немецких персонажей (мы с женою появляемся в двух последних главах только для инспекции), создает себе непреодолимые трудности. По-немецки я не говорил, немецких друзей у меня не было, и я не прочитал к тому времени ни еди-

ного немецкого романа ни в подлиннике, ни в переводе. Но в искусстве, как и в природе, очевидный изъян может обернуться тонким защитным приемом. «Человеческая влажность», которой пропитан мой первый роман «Машенька» (изданный «Словом» в 1926 году и тоже выпущенный по-немецки Ульштейном), была там совершенно уместна, но книга эта мне тогда разонравилась (а теперь она опять мне нравится, но уже по другим причинам). Герои-эмигранты, которых я выставил напоказ в витрине, были до того прозрачны на взгляд той эпохи, что позади них можно было легко рассмотреть ярлычки с их описанием. К счастью, надписи были не довольно разборчивы, но у меня не было никакого желания продолжать пользоваться методом, свойственным французской разновидности «человеческого документа», где изолированную группу людей достоверно изображает один из ее членов — что до известной степени напоминает взволнованные и скучнейшие этнопсихические описания в новейших романах, от которых делается мутно на душе. В стадии постепенного внутреннего высвобождения (я тогда еще не открыл или еще не осмеливался использовать те совершенно особые приемы воспроизведения исторической ситуации, которые я применил десятью годами позже в «Даре»), независимость от всяких эмоциональных обязательств и сказочная свобода, свойственная незнакомой среде, соответствовали моим мечтам о чистом вымысле. Я мог бы перенести действие *КДВ* в Румынию или Голландию. Близкое знакомство с топографией и погодой Берлина определило мой выбор.

К концу 1966 года мой сын приготовил дословный английский перевод книги, и я положил его на свой письменный стол рядом с экземпляром русского издания. Я предвидел, что мне придется сделать немало исправлений в сорокалетнем тексте романа, ни разу не перечитанного мной с тех пор, как его гранки были прокорректированы автором, который был тогда в два раза моложе теперешнего редактора. Очень скоро я убедился, что оригинал одряхлел куда больше, чем я предполагал. Не хочу обсуждением сделанных мною небольших изменений портить удовольствие тем, кто в будущем пожелал бы сравнить оба текста. Позволю себе только заметить, что они были сделаны не для того, чтобы подрумянить труп, а скорее чтобы дать еще бездыханному телу воспользоваться некоторыми внутренними возможностями, в которых ему было прежде отказано вследствие неопытности и нетерпения, торопливости мысли и нерасторопности слова. Эти возможности прямо напрашивались, чтобы их выявили или выпростали из композиционного

нутра произведения. Я проделал эту операцию не без удовольствия. «Грубость» и «непристойность» книги, испугавшие моих самых доброжелательных критиков из эмигрантских журналов², были, разумеется, сохранены, но, признаюсь, я безжалостно вычеркнул и переписал много неловких мест, как, например, критический композиционный переход в последней главе, где, дабы отделаться на время от Франца, которому не следовало попадаться под руку, пока внимание автора было занято кое-какими важными событиями в Гравице, автор прибегнул к презренной уловке, заставив Драйера отослать Франца в Берлин с портсигаром в виде раковины, который надлежало возвратить некоему коммерсанту, забывшему о нем при попустительстве автора (замечаю, что такой же предмет фигурирует и в книге моих воспоминаний «Другие берега», да оно и понятно, ибо формой он напоминает знаменитое пирожное из «Поисков утраченного времени»³). Не могу сказать, что даром потерял время, возясь с устаревшим романом. Исправленный его текст, быть может, ублажит и развлечет даже тех читателей, которые порицают (не иначе как из религиозных соображений) автора, экономно и невозмутимо воскрешающего одно за другим все свои старые сочинения, одновременно трудясь над новым романом, которым он вот уже пять лет захвачен. Думаю, однако, что даже писатель-безбожник слишком многим своим ранним творениям, чтобы не воспользоваться обстоятельствами, вероятно, не имевшими прецедента в истории русской литературы, и не спасти от административного забвения книги, с содроганием запрещенные в его скорбном, далеком отечестве.

Я еще ничего не сказал о фабуле «Короля, дамы, валета». Она, впрочем, небезызвестна. Я даже подозреваю, что Бальзак и Драйзер, персоны почтенные, обвинят меня в бессовестном пародировании, но клянусь, что я тогда еще не читал их потешной чепухи, да и теперь не совсем понимаю, о чем они там говорят под своими кипарисами. В конце концов, муж Шарлотты Гумберт тоже ведь был не безгрешен.

Говоря о литературных сквознях, признаюсь, я был несколько озадачен, найдя в своем русском тексте такое количество «*monologues intérieurs*»: «Улисс» тут ни при чем, я его тогда и не знал почти; но я, конечно, сызмала был знаком с «Анной Карениной», в которой имеется целая сцена, состоящая из таких интонаций, райски-свежих сто лет тому назад, теперь же весьма затасканных⁴. С другой стороны, мои симпатичные маленькие подражания роману «Мадам Бовари», кото-

рых хорошие читатели не могут не заметить, являются сознательной данью Флоберу. Припоминаю, что припоминал, когда писал одну из сцен, как Эмма пробиралась на заре к замку своего любовника по невозможно ненаблюдательным глухим переулкам — ибо даже Омэ клюет носом.

Как обычно, хочу отметить, что, как обычно (и, как обычно, несколько милых мне щепетильных людей недовольно поморщатся), венскую делегацию сюда не приглашали. Если же какому-нибудь неисправимому фрейдисту все-таки удастся прошмыгнуть, то я должен предупредить его или ее, что в романе там и сям расставлено немало жестоких ловушек.

Наконец, о заглавии. Я сохранил эти три фигурные карты, все червонной масти, снеся мелкую пару. Две новые сданные мне карты могут оправдать риск, потому что у меня в этой игре всегда была легкая рука. Осторожным, легким напором пальца, тесно, сквозь едкий табачный дым, выдвигаю уголок карты. «Сердечко лягушки» — как говорят в русской игре в «Пьяницу». А вот и бубенчики на колпаке Джокера! Остается только надеяться, что мои уважаемые партнеры, у которых сплошные «бреланы» да «сюиты», подумают, что я блефую⁶.

Монтрё, 28 марта 1967 года

Перевел с английского
Геннадий Барабтарло
совместно с Верой Набоковой

